

Всякой женщине надлежит иметь те же мотивы, что у прочих женщин, — иначе она чудовище.

Джордж Элиот, «Даниэль Деронда»

Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало... Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас?

Оберштурмбанфюрер Лисс — старому большевику Мостовскому.

Василий Гроссман, «Жизнь и судьба»

Свобода — это груз, который может оказаться не по силам для слабого. Свобода — не подарок, свобода — выбор, иногда нелегкий.

Урсула К. Ле Гуин, «Гробницы Атуана»¹

¹ Перев. С. Славгородского. (Здесь и далее примеч. перев. Переводчица благодарит за поддержку Бориса Грызунова.)

I

СТАТУЯ

АВТОГРАФ ИЗ АРДУА-ХОЛЛА

I

Статуи позволительны только мертвым, а вот мне статуя досталась при жизни. Я уже окаменела.

Статуя — небольшой знак благодарности за мой обширный вклад; об этом говорилось в приказе, который зачитала Тетка Видала. Что она сделала по поручению нашего руководства и не испытывая ни капли благодарности. Призвав на помощь всю свою скромность, я сказала «спасибо», потянула за бечевку и сдернула свой тканый саван; ткань спорхнула на землю — и мне явилась я. У нас в Ардуа-холле гикать не принято, однако сдержанные хлопки раздались. Я в ответ склонила голову.

В камне я больше, чем в жизни, — со статуями так бывает сплошь и рядом, — и статуя моложе, хужее и в лучшей форме, нежели последние годы была я. Спина прямая, плечи расправлены, губы изогнуты в стоической, но великодушной улыбке. Глаза мои устремлены к некоей космической точке отсчета, каковая, очевидно, олицетворяет мой идеализм, мою нестигаемую верность долгу, мою решимость идти вперед вопреки любым препонам. Моя статуя, впрочем, никаких небесных явлений не узрит — ее поставили в кустах посреди угрюмой рощицы, обок от тропинки,

что бежит вдоль фасада Ардуа-холла. Нам, Теткам, даже в камне кичливость не к лицу.

За мою левую руку, доверчиво взирая снизу вверх, цепляется девочка лет семи-восьми. Моя правая рука возлежит на темени женщины, что скорчилась рядом, — волосы под вуалью, взгляд заведен на меня, в лице читается то ли робость, то ли признательность: кто-то из наших Служанок, — а за моей спиной стоит одна из моих Жемчужных Дев, готовая приступить к миссионерским трудам. На поясе у меня висит электробич. Оружие напоминает о моих изъянах: если б я работала плодотворнее, этот инструмент мне бы не понадобился. Я убеждала бы одним лишь голосом.

Не самая удачная скульптурная группа — чересчур перегруженная. Лучше бы внятнее сделали акцент на мне. Зато на вид я хотя бы в здравом рассудке. А могло выйти иначе: престарелая скульпторша — правоверная, уже скончалась — имела обыкновение передавать благочестивый пыл, наделяя свои изваяния выпученными глазами. Бюст Тетки Хелены страдает бешенством, у бюста Тетки Видалы — гиперфункция щитовидки, а бюст Тетки Элизабет с минуты на минуту грозит лопнуть.

На открытии скульпторша нервничала. Льстит ли мне статуя? Одобряю ли я? Одобрю ли зримо? Я подумывала нахмуриться, едва упадет простыня, но отказалась от этой мысли: у меня все-таки есть сердце.

— Прямо как живая, — сказала я.

Было это девять лет назад. Время не пощадило статую: меня изукрасили голуби, мои повлажневшие складки заросли мхом. Почитательницы завели привычку оставлять подношения у моих ног: яйца — знак плодовитости, апельсины — намек на вынашивание, круассаны — аллюзия на луну. Хлебные изделия я

оставляю — как правило, их успевают полить дождь, — а вот апельсины забираю себе. Апельсины весьма освежают.

Я пишу в своем личном кабинете в библиотеке Ардуа-холла — одной из немногих библиотек, что сохранились после увлеченного сжигания книг, прокатившегося по нашей земле. Прошлое оставило уродливые и кровавые отпечатки пальцев — следовало их стереть, дабы освободить пространство чистому душой поколению, которое, несомненно, явится со дня на день. Так гласит теория.

Но кровавые отпечатки пальцев оставляли и мы, а их так просто не сотрешь. За долгие годы я захоронила немало костей, а теперь склоняюсь вновь извлечь их из-под земли хотя бы тебе в назидание, безвестный мой читатель. Если ты это читаешь, значит, моя рукопись по крайней мере уцелела. Впрочем, возможно, я фантазирую: возможно, у меня никогда не будет читателя. Возможно, единственным собеседником моим будет стенка — во многих смыслах.

На сегодня довольно бумагомарания. Ноет рука, ломит спину, и меня ждет еженощная чашка горячего молока. Сочинение свое я сокрою в тайнике, избегая камер наблюдения — где они, я знаю, я сама их устанавливала. Невзирая на такие предосторожности, я вполне сознаю, чем рискую: писания бывают опасны. Какие вероломства, а затем и доносы уготованы мне? В Ардуа-холле найдутся те, кто с дорогой душой наложил бы лапу на эти страницы.

Не спешите, безмолвно советую им я: будет хуже.

II ЦВЕТОК ДРАГОЦЕННЫЙ

ПРОТОКОЛ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ 369А

2

Вы просите рассказать, каково мне было расти в Галааде¹. Вы говорите, что это поможет, и да, я хочу помочь. Вы, вероятно, ожидаете сплошных ужасов, но на самом деле в Галааде, как и повсюду, дети зачастую окружены любовью и заботой, и в Галааде, как и повсюду, взрослые зачастую добры, хотя и не лишены слабостей.

И надеюсь, вы примете во внимание, что все мы скучаем по доброте, которую видели детьми, сколь ни абсурдными видятся обстоятельства нашего детства всем прочим. Я согласна с вами, Галаад должен сойти на нет — слишком много в нем дурного, слишком много ложного, слишком многое, безусловно, противоречит Божьему Замыслу, — но все же дозволейте мне оплакать то хорошее, что будет утрачено вместе с дурным.

¹ Г а л а а д — гора, а также гористая страна за Иорданом, которая славилась богатством и плодородием. «И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. Они взяли камни, и сделали холм, и ели [и пили] там на холме. [И сказал ему Лаван: холм сей свидетель сегодня между мною и тобою.] И назвал его Лаван: Иегар-Сагадуфа; а Иаков назвал его Галаадом» (Быт. 31:45—47). «Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью» (Ос. 6:8).

В школе у нас весной и летом носили розовый, осенью и зимой — сливовый, а белый — по особым дням, по воскресеньям и праздникам. Руки покрыты, волосы покрыты, до пяти лет юбки по колено, а после — не более двух дюймов над лодыжкой, ибо мужские страсти ужасны и их надлежит укрощать. Мужчины вечно шныряют взглядом тут и там, подобно тиграм, глаза у них — что прожекторы, и их надлежит защищать от притягательной и, более того, ослепительной нашей силы — от наших лепных, или тощих, или толстых ног, от наших изящных, или шишковатых, или сосисочных рук, от нашей персиковой или прыщавой кожи, от наших вьющихся блестящих локонов, или жесткой непослушной овчины, или соломенных жидких кос — детали значения не имеют. С любыми формами, любыми чертами, вопреки своей воле мы — ловушки, приманки, мы — чистые и безвинные корни зла, сама природа наша пьянит мужчин похотью, и они колеблются, и шатаются, и падают, преступив грань (Грань чего? — недоумевали мы. Это как с обрыва?), и рушатся в бездну, объятые пламенем, точно снежки, вылепленные из горячей серы и запущенные в полет рассерженной рукою Бога. Мы — хранительницы заветного сокровища, что незримо таится внутри нас; мы — цветы драгоценные, кои следует беречь за стеклом оранжерей; а иначе нас подстерегут, оборвут наши лепестки, украдут наше сокровище, иначе нас разорвут на части и затопчут алчные мужчины, что прячутся за каждым углом в лютном и безнравственном мире, раскинувшемся снаружи.

Так рассказывала нам в школе сопливая Тетка Видала, пока мы мелкой гладью вышивали носовые платки, и пуфики, и картинки в рамочках — предпочтительно изображения цветов в вазе, фруктов в чаше. А вот Тетка Эсте, наша любимая учительница, говорила, что Тетка Видала чрезмерно усердствует и пугать

нас до полусмерти ни к чему, это внушит нам отвращение, а оно дурно повлияет на счастье нашей будущей замужней жизни.

— Не все мужчины таковы, девочки, — успокаивала Тетка Эсте. — У лучших из них — превосходный нрав. Некоторые неплохо держат себя в руках. А замужем вам все увидится совсем иначе, отнюдь не так страшно.

Ей самой, правда, неоткуда было знать, поскольку Тетки замуж не выходили — им не разрешалось. Поэтому им позволяли писание и книги.

— Когда придет время, мы, и ваши отцы, и ваши матери с умом подберем вам мужей, — говорила Тетка Эсте. — Так что ничего не бойтесь. Учите уроки, слушайте старших, они все сделают, как надо, и все случится, как должно. Я буду об этом молиться.

Но, невзирая на ямочки и располагающую улыбку Тетки Эсте, в наших умах господствовала версия Тетки Видалы. Эта картина всплывала в моих кошмарах: раскалывалось стекло оранжереи, затем все трещало, и рвалось, и грохотали копыта, и розовые, и белые, и сливовые ошметки меня разлетались по земле. Я страшилась повзрослеть — повзрослеть и дорасти до свадьбы. Я не верила, что Тетки сделают выбор с умом: я боялась, что в итоге меня выдадут за какого-нибудь горящего козла.

Особенным девочкам, таким как мы, полагались розовые, белые и сливовые платья. Обычные девочки из Эконосемей всегда носили одно и то же — разноцветное полосатое уродство и серые накидки, как у их матерей. Эти девочки даже не учились вышивать мелкой гладью или вязать крючком — только шить и складывать бумажные цветы, всяким таким занятиям. Они не избранные и не выйдут замуж за лучших мужчин, за Сынов Иакова и других Командоров и их сыновей, —

они не как мы, хотя их могут избрать, когда повзрослеют, если они вырастут красивыми.

Вслух этого не говорили. Не полагалось щеголять красотой, это нескромно, и не полагалось замечать чужую красоту. Хотя мы знали правду: лучше быть красивой, чем уродкой. Даже Тетки больше внимания уделяли красивым. Но, если ты уже избранная, не так важно, красивая ты или нет.

Я не косила, как Олдама, у меня не было встроенной надутой гримасы, как у Сонамит, и почти отсутствующих бровей, как у Бекки, однако я была еще не готова. Лицо, как тесто, как печенье, которое пекла мне Цилла, моя любимая Марфа, — глаза-изюмины и зубы, как тыквенные семечки. Но я, хотя и не замечательная красавица, была очень-очень избранная. Дважды избранная, и не только для того, чтобы выйти замуж за Командора: сначала меня избрала Тавифа — это была моя мама.

Тавифа сама мне так рассказывала.

— Я пошла погулять в лесу, — говорила она, — и наткнулась на зачарованный замок, и внутри сидело взаперти много-много маленьких девочек, и ни у одной не было матери, и их всех заколдовали злые ведьмы. У меня было волшебное кольцо, которое отпирало ворота замка, но спасти я могла только одну девочку. Я оглядела всех очень внимательно и из целой толпы девочек выбрала тебя!

— А остальные? — спрашивала я. — Что случилось с остальными девочками?

— Их спасли другие мамы, — отвечала она.

— У других мам тоже были волшебные кольца?

— Ну конечно, милая моя. Чтобы стать мамой, нужно волшебное кольцо.

— А где это волшебное кольцо? — спрашивала я. — Где оно сейчас?

— У меня на пальце, — отвечала она и гладила безымянный палец левой руки. Она говорила, этот палец — сердечный. — Но в моем кольце было только одно желание, и я истратила его на тебя. И теперь это обычное, неприметное мамино кольцо.

Тут мне разрешалось примерить кольцо — золотое, с тремя бриллиантами: один крупный и два маленьких по бокам. На вид такое, будто некогда и впрямь было волшебным.

— И ты меня взяла на руки и унесла? — спрашивала я. — Из леса?

Историю я знала наизусть, но любила слушать снова и снова.

— Нет, сокровище мое, ты была уже слишком большая. Если б я несла тебя на руках, я бы закашлялась и нас бы услышали ведьмы. — (Я и сама знала, что это правда: Тавифа действительно много кашляла.) — Поэтому я взяла тебя за руку, и мы вышли из замка на цыпочках, чтобы ведьмы не услышали. Мы обе говорили: «Тш-ш, тш-ш», — тут она прижимала палец к губам, и я тоже поднимала палец и в восторге повторяла за ней: «Тш-ш, тш-ш», — а потом мы быстро-быстро побежали по лесу, спасаясь от злых ведьм, потому что одна заметила, как мы вышли за порог. Мы сначала бежали, а потом спрятались в дупле. Было очень опасно!

У меня осталось расплывчатое воспоминание о том, как я бегу по лесу и кто-то держит меня за руку. И я пряталась в дупле? Кажется, да, я где-то пряталась. Может, все это было на самом деле.

— А потом что? — спрашивала я.

— А потом я привела тебя в этот красивый дом. Ты ведь счастлива? Ты нам всем так дорога! Нам с тобой повезло, что я выбрала тебя, правда?

Я приникала к ней, а она меня обнимала, и я головой прижималась к ее худому телу, к твердой ряби ее ребер.

Я ухом притискивалась к ее груди и слышала, как внутри колотится сердце — все быстрее и быстрее, казалось мне, потому что Тавифа ждала ответа. Я знала, что мои слова могущественны: либо Тавифа улыбнется, либо нет.

Что я могла сказать? Только да и да. Да, я счастлива. Да, мне повезло. Это же правда.

3

Сколько мне было тогда? Лет шесть, должно быть, или семь. Трудно сказать — обо всем, что было до того, у меня нет ясных воспоминаний.

Тавифу я обожала. Она была красавица, хотя и ужасно худая, и она играла со мной часами. У нас был кукольный дом, один в один наш собственный — гостиная, и столовая, и большая кухня для Марф, и отцовский кабинет со столом и книжными шкафами. Все понарошечные книжечки на полках были пусты. Я спрашивала, почему в них ничего нет — у меня было смутное подозрение, что на страницах должны быть значки, — и мама отвечала, что книжки — это такие украшения, как вазы с цветами.

Сколько же ей приходилось лгать ради меня! Чтобы меня уберечь! Но лгала она доблестно. Она была очень изобретательная.

На втором этаже кукольного дома у нас были прелестные большие спальни с занавесками, и обоями, и картинами — красивыми, с фруктами и цветами, — и маленькие спаленки на третьем этаже, и целых пять уборных, хотя одна была туалетной (почему она так называется? что такое «туалет»?) и еще погреб с припасами.

В этом кукольном доме у нас были все куклы, каких только можно пожелать: кукла-мама в голубом платье Жены Командора, маленькая кукла-девочка с тремя платьицами, розовым, белым и сливовым, в точно-